

Восток. Ги де Мопассан

Вот и осень! Каждый раз, когда я чувствую первые холода зимы, я вспоминаю своего друга, живущего там, на границе Азии.

Когда я был у него в последний раз, я понял, что больше его не увижу. Это было три года тому назад, в конце сентября. Он лежал на диване, погруженный в грезы, которые навевают опиум. Не двигаясь с места, он протянул мне руку и сказал:

— Сядь здесь и можешь говорить; время от времени я буду отвечать тебе, но не буду двигаться; ты ведь знаешь: когда снадобье принято, нужно лежать на спине.

Я сел и принялся рассказывать ему разные новости из жизни веселящегося Парижа.

— Это меня не интересует, — сказал он, — я думаю лишь о солнечных краях. О, как, должно быть, страдал бедный Готье, вечно одержимый жаждой Востока! Ты не знаешь ведь, как этот край овладевает человеком, берет его в плен, проникает в самое его сердце и уже не выпускает своей добычи. Он внедряется в тебя всеми своими неодолимыми соблазнами через твои глаза, через твою кожу; он держит тебя, как на невидимой нити, и непрестанно тянет за эту нить, куда бы ни закинула тебя судьба. И снадобье это я принимаю, чтобы размышлять о Востоке, погружившись в то восхитительное забытие, которое дарует опиум.

Он замолчал и закрыл глаза.

— Но неужели тебе приятно принимать этот яд? — спросил я. — И что же представляет собою вызываемое им физическое наслаждение? Почему люди опьяняются им до смерти?

— Это не физическое наслаждение, — отвечал мой друг, — это нечто лучшее, нечто большее. Мне часто бывает грустно; я ненавижу жизнь, которая непрестанно ранит меня своими острыми углами, своею грубостью и жестокостью. Опиум — мой утешитель во всех горестях, и он позволяет мне примириться с ними. Знакомо ли тебе настроение, которое я назвал бы непрерывным, неотвязным раздражением? Я обычно живу в этом состоянии. Две вещи могут меня исцелить от него: опиум и Восток. Как только я принял опиум, я ложусь и жду. Жду час, иногда два. Затем я чувствую сначала легкую дрожь в руках и ногах, — не судорогу, а трепетное онемение; затем мало-помалу появляется странное и сладостное ощущение, как будто отмирают члены моего тела. Их словно отнимают у меня; это ощущение распространяется, поднимается все выше, завладевает мною целиком. У меня нет больше тела. О нем сохраняется только нечто вроде приятного воспоминания. Остается одна голова, и она работает. Я мыслю. Я мыслю с бесконечной радостью и воодушевлением, с несравненной ясностью, с поразительной остротой. Я рассуждаю, я делаю выводы, мне все понятно, мне открываются идеи, которых раньше я и не предчувствовал; я спускаюсь в неизведанные глубины, всхожу на чудесные высоты, плаваю в океане. Мысли упиваются невыразимым счастьем, высочайшим наслаждением этого чистого и ясного опьянения ума, одного только ума.

Он вторично замолчал и снова закрыл глаза.

— Это постоянное опьянение и стало единственною причиной твоей страсти к Востоку, — сказал я. — Ты живешь в мире галлюцинаций. Как можно стремиться в этот варварский край, где умер Дух, где бесплодная Мысль не выходит за узкие пределы жизни, не делает никакого усилия, чтобы взлететь, вырасти и победить?

Он ответил:

— Разве дело в практическом мышлении? Я люблю лишь грезы. Только в них благо, только в них сладость.

Беспощадная действительность уже давно толкнула бы меня на самоубийство, если бы грезы не давали мне силу ждать.

Но ты сказал, что Восток — страна варваров. Умолкни, несчастный: это страна мудрецов. В этой знойной стране жизнь предоставлена ее естественному течению, и все острые углы сглаживаются и округляются.

Напротив, это мы варвары, мы, западные люди, мнящие себя цивилизованными; мы отвратительные варвары, живущие грубой жизнью животных.

Посмотри на наши каменные города, на нашу деревянную мебель, угловатую и жесткую. Мы поднимаемся, задыхаясь, по узким и крутым лестницам, мы входим в тесные квартиры, куда со свистом врывается ледяной ветер, тотчас улетающий через каминную трубу, похожую на насос: труба эта вызывает смертоносные сквозняки, такие сильные, что они могли бы вращать крылья ветряной мельницы. Наши стулья жестки, наши стены холодны и оклеены отвратительной бумагой. Всюду ранят нас углы: углы столов, каминов, дверей, кроватей. Мы живем стоя или сидя, но никогда не лежа, разве когда спим, а это нелепо, ибо во сне человек уже не чувствует, какое счастье быть распростертым.

Подумай и о нашей интеллектуальной жизни. Это борьба, это непрестанный бой. Беспокойство тяготеет над нами, заботы преследуют нас; у нас нет времени искать или добиваться тех немногих хороших вещей, которые нам доступны.

Это битва насмерть. И острых углов тут еще больше, чем в нашей мебели, в нашем характере. Всюду углы!

Едва встав с постели, в ненастье и стужу мы бежим на работу. Мы боремся против соперников, соискателей, недругов. Каждый человек — враг, которого нужно бояться и одолевать, с которым нужно лукавить. Даже любовь у нас принимает облик победы и поражения: и здесь — борьба!

Он задумался на несколько секунд, затем продолжал:

— Дом, который я собираюсь купить, я вижу ясно. Он квадратный, с плоской крышей и резными деревянными украшениями на восточный

лад. С террасы видно море, по нему плывут белые паруса греческих или мусульманских фелюг, подобные острым крыльям. Наружные стены почти глухие. Посреди этого обиталища помещается большой сад. Там воздух душен и благоуханен под зонтиками пальм. Струя осененного деревьями фонтана бьет ввысь и, рассыпаясь брызгами, ниспадает в просторный мраморный бассейн, дно которого усыпано золотым песком. Там буду я купаться во всякое время между двумя трубками, двумя грезами или двумя поцелуями.

У меня не будет служанки, той отвратительной служанки в засаленном фартуке, которая, уходя, на каждом шагу шлепает стоптанной туфлей, задевая грязный подол своей юбки. О эта туфля, обнажающая желтую лодыжку! Когда я ее вижу, меня мутит от отвращения, а я не могу ее не видеть. Они все так шлепают туфлями, проклятые!

Я больше не услышу шарканья подошв по паркету, стука дверей, закрываемых со всего размаху, грохота падающей посуды.

У меня будут рабы — черные и прекрасные, закутанные в белую одежду, бесшумно ступающие босыми ногами по мягким коврам.

Стены моих комнат будут мягки и упруги, как женская грудь; каждая комната будет опоясана кругом диванами с подушками всевозможных видов, которые дадут мне возможность улечься в любом положении.

А когда я устану от этого восхитительного отдыха, устану наслаждаться неподвижностью и вечными грезами, устану от этого безмятежного покоя, я прикажу подвести к дверям быстроногого коня белой или вороной масти.

И я помчусь верхом, впивая в себя хлещущий, хмельной ветер, свистящий ветер бешеного галопа.

Я полечу, как стрела, по этой красочной земле, вид которой опьяняет взор и дурманит, как вино.

В тихий вечерний час я полечу сумасшедшим галопом к широкому горизонту, розовому от заходящего солнца. Там, в сумерках, все становится розовым: выжженные солнцем горы, песок, одежды арабов, белая масть лошадей.

Я увижу розовых фламинго, взлетающих с болот в розовое небо, и я буду исступленно кричать, утопая в беспредельности розового мира.

Я уже не буду видеть, как вдоль тротуаров, среди резкого, оглушительного грохота проезжающих фиакров сидят на неудобных стульях люди, одетые в черное, пьют абсент и толкуют о делах.

Я не буду знать биржевого курса, колебания ценностей, всех тех бесполезных глупостей, на которые мы попусту расточаем наше краткое, жалкое и обманчивое существование. К чему эти тяготы, страдания, борения? Я буду отдыхать, защищенный от ветра, в моем роскошном и светлом жилище.

И у меня будет четыре или пять жен, живущих в комнатах с мягкими стенами, пять жен из пяти частей света; они принесут мне сладостное своеобразие женской красоты, свойственной каждой расе.

Он вновь умолк, потом произнес тихо:

— Оставь меня.

Я ушел. Больше я не видел его.

Два месяца спустя он написал мне письмо, состоящее всего из двух слов:

«Я счастлив».

Его письмо пахло ладаном и какими-то нежнейшими благовониями.

Примечания

Напечатано в «Голуа» 13 сентября 1883 года. Конец этой хроники Мопассан включил затем в книгу «На воде».